

Г Л А В А I

В наши дни маленький музей творений Амбруаза Флёри — не более чем скромное развлечение для посещающих городок Клеры туристов. Большинство посетителей отправляются туда, пообедав в “Прелестном уголке”, который единодушно воспевается во всех французских путеводителях как одна из главных местных достопримечательностей. Путеводители все же упоминают о наличии музея — с пометкой “Рекомендуем посетить”. В пяти залах собрана большая часть работ моего дяди, переживших войну, оккупацию, бои за освобождение — все невзгоды и превратности судьбы, выпавшие на долю нашей страны.

Воздушные змеи всех стран рождены народной фантазией, поэтому в них всегда есть нечто наивное. Змеи Амбруаза Флёри не исключение — даже на его последних творениях, созданных в старости, лежит этот отпечаток душевной свежести и чистоты. Музей не закрывает своих дверей, несмотря на вялый интерес публики и скромность получаемых от муниципалитета средств: он слишком связан с нашей историей.

Но большую часть времени его залы пустуют, ибо мы живем в эпоху, когда французам хочется не столько помнить, сколько поскорее забыть свое прошлое.

Лучшая фотография Амбруаза Флэри висит у входа в музей. Он стоит в форме сельского почтальона — кепи, мундир, грубые башмаки, кожаная сумка на животе — между воздушным змеем в виде божьей коровки и змеем, изображающим Леона Гамбетта¹, чьи голова и туловище образуют баллон и корзину воздушного шара, на котором он совершил свой знаменитый перелет во время осады Парижа. Существует и множество других фотографий человека, которого долго называли “чокнутым почтальоном из Клери”, поскольку некоторые посетители мастерской на нашей ферме Ла-Мотт снимали его ради смеха. Мой дядя охотно соглашался сниматься. Он не боялся выглядеть смешным и не жаловался на прозвища “чокнутый почтальон” или “тихий чудак”, и если даже знал, что местные жители называют иногда его “полоумный старик Флэри”, то, казалось, видел в этом скорее знак уважения, чем презрения. В тридцатые годы, когда известность дяди начала расти, хозяину “Прелестного уголка” Марселену Дюпра пришлось в голову напечатать почтовые открытки с изображением моего опекуна в форме среди его воздушных змеев с надписью: “Клери. Знаменитый сельский почтальон Амбруаз Флэри и его воздушные змеи”. К сожалению, все эти открытки черно-белые и не передают веселой яркости воздушных змеев. Не передают они и добродуш-

¹ *Леон Гамбетта* (1838–1882) — французский адвокат и политический деятель, отстаивавший республиканскую форму правления. Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. — член правительства национальной обороны. В 1881–1882 гг. — премьер-министр Франции. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

ной улыбки старого нормандца, как бы подмигивающего небу.

Мой отец был убит на Первой мировой; вскоре после этого умерла и мать. Война стоила жизни и второму из трех братьев Флэри, Роберу. Мой дядя Амбруаз вернулся с фронта, раненный в грудь. Должен добавить для ясности, что мой прадед Антуан погиб на баррикадах во времена Коммуны, — думаю, этот эпизод нашего прошлого и особенно двойное упоминание фамилии Флэри на памятниках погибшим в Клери сыграли решающую роль в жизни моего опекуна. С войны он пришел другим человеком — прежде в округе говорили, что он чуть что кидается в драку. Теперь же люди удивлялись, что бывший солдат, награжденный медалью, не упускает случая высказать пацифистские взгляды, защищает уклоняющихся от военной службы по моральным соображениям и протестует против всех видов насилия с огнем во взгляде — возможно, это был отблеск огня, горящего у Могилы Неизвестного Солдата. Он вовсе не выглядел тихоней. Волевое лицо, правильные, жесткие черты, седые, стриженные ежиком волосы, густые и длинные усы, которые называют “галльскими”, поскольку французы, слава богу, еще не разучились дожить своими историческими воспоминаниями, даже если это всего лишь память об усах. Глаза были темные — это всегда признак веселости. По общему мнению, он на войне “слегка тронулся” — так объясняли его пацифизм и причуду посвящать все свободное время воздушным змеям — “няммам”, как он их называл. Он нашел это слово в книге об Экваториальной Африке, где оно вроде бы означает все, в чем есть дыхание жизни: людей, мошек, львов, слонов или

идеи. Наверное, он выбрал работу сельского почтальона потому, что его военная медаль и два военных креста давали ему право на льготное место, а может, он видел здесь поле деятельности, подходящее для пачифиста. Он часто говорил мне: “Мой маленький Людо, если тебе повезет и ты будешь хорошо работать, когда-нибудь и ты сможешь получить место почтового служащего”.

Мне понадобились годы, чтобы понять, как переплетались в его характере глубокая серьезность и стойкость и свойственное французам шутливое лукавство.

Дядя говорил, что “воздушные змеи должны, как и все, учиться летать”, и с семи лет я провожал его после школы на “испытания”, как он это называл, то на луг, раскинувшийся перед Ла-Мотт, то немного дальше, на берега Риголи, с “ньямом”, от которого еще приятно пахло свежим клеем.

— Надо крепко держать змеев, — объяснял он мне, — потому что они тянут вверх и иногда вырываются, поднимаются слишком высоко в погоне за синевой, и тогда их больше не увидишь, разве только люди принесут обломки.

— А если я буду держать слишком крепко, я не улечу вместе с ними?

Он улыбался, и его густые усы казались еще добрее.

— Может и так случиться, — говорил он. — Но ты не давайся.

Дядя придумывал своим змеям ласковые имена: “Страшилка”, “Резвунчик”, “Хромуша”, “Пузырь”, “Парень”, “Трепетунчик”, “Красавчик”, “Косолапый”, “Плескунчик”, “Милоч”, и я никогда не знал, почему он называл их так, а не иначе, почему змей, похожий

на веселую лягушку, которая, как бы на прощание, машет на ветру лапкой, назывался “Косолапый”, а улыбающаяся рыбка с трепещущими серебристыми чешуйками и розовыми плавниками звалась “Плескунчик” или почему он над лугом у Ла-Мотт запускает “Пампушку” чаще, чем “Марсианина”, который мне очень нравился из-за круглых глаз и крыльев в виде ушей, трепетавших, когда он взлетал; этим движениям я успешно подражал — лучше, чем все мои одноклассники. Когда дядя запускал “няма”, чья форма была мне непонятна, он объяснял:

— Надо стараться делать змеев, которые отличаются от всего, что мы уже видели. Это должно быть что-то совсем новое. И их нужно еще крепче держать за веревку, потому что, если упустишь, они улетают в небо и при падении могут сильно покалечиться.

Но иногда мне казалось, что это вовсе не Амбруаз Флэри держит за веревочку воздушного змея, а наоборот.

Моим любимцем долго был славный “Пузырь”, чей живот удивительно раздувался от воздуха, когда он набирал высоту; при самом слабом ветерке он делал пируэты, смешно похлопывая себя лапками по брюшку, когда дядя натягивал или отпускал нити.

Я укладывал “Пузыря” с собой спать, потому что на земле воздушному змею очень нужна дружба: внизу он теряет форму, сникает и легко может впасть в отчаяние. Ему нужны высота, воздух и много неба, чтобы развернуться во всей красе.

Днем мой опекун обходил округу, выполняя свои обязанности — разносил местным жителям почту, которую забирал утром на почтамте. Но когда я возвращался из школы, пройдя пять километров, он почти

всегда стоял в форме почтальона на лугу у Ла-Мотт (во второй половине дня у нас поднимается ветер), устремив глаза вверх на одного из своих дружков, трепещущих над землей.

Однажды мы потеряли нашего великолепного “Морехода” с двенадцатью парусами, которые ветер надул разом, вырвав его у меня из рук, и я захныкал; дядя, следя взглядом за своим детищем, исчезающим в небе, сказал:

— Не плачь. Для того он и создан. Ему хорошо там, наверху.

Назавтра местный фермер привез нам в телеге с сеном кучу деревяшек и бумаги — все, что осталось от “Морехода”.

Мне было десять лет, когда выпускаемая в Онфлере газета посвятила статью в юмористическом духе “нашему земляку Амбруазу Флэри, сельскому почтальону из Клери, симпатичному оригиналу, чьи воздушные змеи составят когда-нибудь славу этих мест, как кружева прославили Валансьен, фарфор — Лимож и глупость — Камбре”. Дядя вырезал статью, застеклил и повесил на гвоздь на стене мастерской.

— Как видишь, я не лишен тщеславия, — сказал он, лукаво подмигнув.

Эту заметку с фотографией перепечатала одна парижская газета, и в скором времени наш сарай, получивший название мастерской, начал принимать не только посетителей, но и заказы. Хозяин “Прелестного уголка”, старый друг моего дяди, рекомендовал эту “местную достопримечательность” своим клиентам. Однажды перед нашей фермой остановился автомобиль и из него вышел очень элегантный господин. Особенное впечатление произвели на меня его усы,

которые торчали до ушей и соединялись с бакенбардами, деля лицо пополам. Позже я узнал, что это крупный английский коллекционер лорд Хау. При нем был лакей и чемодан; когда чемодан открыли, я обнаружил великолепных воздушных змеев из разных стран — Бирмы, Японии, Китая, Сиам, тщательно уложенных на обтянутом бархатом дне. Дяде было предложено полюбоваться ими, что он и сделал с полной искренностью, так как в нем абсолютно не было шовинистической жилки. В этом отношении его единственным “пунктиком” было утверждение, что воздушный змей стал значительной персоной только во Франции в 1789 году. Отдав должное образчикам английского коллекционера, дядя в свою очередь показал ему некоторые из собственных творений, среди которых был “Виктор Гюго в облаках”, сделанный под влиянием знаменитой фотографии Надара, — причем поэт напоминал Бога Отца, поднимающегося в воздух. После двух часов осмотра и взаимных комплиментов оба отправились на луг, каждый запустил из любезности змея другого, и они оживляли нормандское небо до тех пор, пока не сбежались все окрестные мальчишки, чтобы принять участие в празднике.

Известность Амбруаза Флэри росла, но не вскружила ему голову даже тогда, когда его “Терцогиня де Монпансье во фригийском колпаке” (у дяди была пылкая натура республиканца) получила первый приз на выставке в Ножане и лорд Хау пригласил его в Лондон, где дядя продемонстрировал некоторые из своих изделий в Гайд-парке. После прихода к власти Гитлера и оккупации Рейнской области политический климат в Европе начинал портиться, поэтому в тот период часто проводились разные мероприятия по укрепле-

нию франко-британской дружбы. Я сохранил фото из “Иллюстриейтед Лондон ньюс”, где Амбруаз Флэри со своей “Свободой, озаряющей мир” стоит между лордом Хау и принцем Уэльским. После такого почти официального признания Амбруаза Флэри избрали сначала членом, а затем почетным президентом общества “Воздушные змеи Франции”. Визиты любопытных становились все чаще.

Прекрасные дамы и важные господа, приезжавшие в автомобилях из Парижа пообедать в “Прелестном уголке”, отправлялись после обеда к нам и просили “мэтра” продемонстрировать что-нибудь из его творений. Прекрасные дамы усаживались на траву, важные господа с сигарой в зубах старались сохранять серьезность, и публика наслаждалась созерцанием “чокнутого почтальона” с его “Монтенем” или “Всеобщим миром”, которые он удерживал за веревочку, глядя в небо пронзительным взором великих мореплавателей. В конце концов я почувствовал, сколько оскорбительного было в усмешках важных дам и снисходительном выражении лиц холеных господ, и даже иногда улавливал нелестные или сочувственные реплики. “Он, кажется, не в своем уме. Его контузило на фронте”. “Он объявляет себя пацифистом и ругает за ценность человеческой жизни, но, по-моему, он просто хитрец, который изумительно умеет создавать себе рекламу”. “Умереть можно со смеху!” “Марселен Дюпра был прав, сюда стоило заехать!” “Вы не находите, что он похож на маршала Лиоте, со своим седым ежиком и с этими усами?” “У него что-то безумное во взгляде...” “Ну конечно, дорогая, так называемый священный огонь!” Затем они покупали воздушного змея, как платят за место в театре, и небрежно швы-

ряли его в багажник автомобиля. Это было тем более тяжело, что дядя, всецело отдаваясь своей страсти, становился безразличен к тому, что происходит вокруг, и не замечал, что некоторые гости над ним смеются. Однажды, возвращаясь домой, взбешенный замечаниями, которые я услышал, когда мой опекун управлял полетом своего любимца “Жан-Жака Руссо” с крыльями в форме раскрытых книг, чьи листы трепал ветер, я не смог сдержать своего негодования. Я шел за дядей большими шагами, нахмутив брови, засунув руки в карманы, и так сильно топал, что носки спадали мне на пятки.

— Дядя, эти парижане смеялись над вами. Они вас назвали старым придурком.

Амбруаз Флэри остановился. Он совсем не был обижен, скорее удовлетворен.

— Вот как? Они так сказали?

Тогда я бросил с высоты своих метра сорока сантиметров фразу, которую слышал из уст Марселена Дюпра по поводу одной пары, посетившей “Прелестный уголок” и недовольной суммой счета:

— Это мелкие люди.

— Мелких людей не бывает, — заявил дядя.

Он наклонился, осторожно положил “Жан-Жака Руссо” на траву и сел. Я сел рядом.

— Значит, они назвали меня придурком. Ну что ж, представь себе, эти важные дамы и господа правы. Совершенно очевидно, что человек, который посвятил всю свою жизнь воздушным змеям, немного придурковат. Вопрос только, как это толковать. Некоторые называют это придурью, а другие — священной искрой. Иногда трудно отличить одно от другого. Но если ты действительно кого-нибудь или что-ни-

будь любишь, отдай все, что у тебя есть, и даже всего себя, и не заботься об остальном...

Веселая улыбка быстро мелькнула под густыми усами.

— Вот что ты должен знать, если хочешь стать хорошим служащим почтового ведомства, Людо.

Г Л А В А I I

Принадлежавшую нашей семье ферму построил один из Флёри вскоре после того, что во времена моих деда и бабушки называлось “событиями”. Когда однажды мне захотелось узнать, что за “события” имелись в виду, дядя объяснил, что это революция 1789 года. Я узнал также, что мы отличаемся хорошей памятью.

— Не знаю, может, это благодаря обязательному школьному образованию, но Флёри всегда обладали замечательной исторической памятью. Думаю, никто из наших никогда и ничего не забывал из того, что выучил. Дедушка иногда заставлял нас рассказывать наизусть Декларацию прав человека. Я так привык, что, случается, и теперь ее повторяю.

Тогда же я узнал (мне только что исполнилось десять лет), что хотя моя собственная память еще не приняла “исторического” характера, она вызывает у моего школьного учителя месье Эрбье, певшего к тому же в хоре Клери, удивление и даже беспокойство. Легкость, с какой я запоминал все пройденное и мог повторить наизусть несколько страниц из школьного

учебника, прочитав их раз или два, а также необычная способность к устному счету, казалась ему скорее неким умственным отклонением, нежели просто свойством хорошего или даже очень хорошего ученика. Он не доверял тому, что называл не моим даром, а “предрасположенностью” (в его устах это звучало зловеще, и я чувствовал себя почти виноватым), так как все знали о дядиных “странностях” и не исключали, что я тоже страдаю каким-то наследственным изъязном, который может оказаться роковым. Чаще всего я слышал от месье Эрбье фразу: “Умеренность прежде всего”; произнося это предостережение, он серьезно всматривался в меня. Однажды, когда мои наклонности проявились так явно, что один из одноклассников на меня наябедничал, поскольку я выиграл пари и получил кругленькую сумму, повторив наизусть десять страниц расписания поездов по справочнику железных дорог, я узнал, что месье Эрбье употребил по моему адресу выражение “маленькое чудовище”. Я усугубил свое положение, предаваясь извлечению квадратных корней в уме и молниеносно перемножая длиннющие числа. Месье Эрбье отправился в Ла-Мотт, долго говорил с моим опекуном и посоветовал ему отвезти меня в Париж и показать специалисту. Прижав ухо к двери, я не упустил ничего из этой беседы.

— Дело в том, Амбруаз, что это ненормально. Бывает, что дети, исключительно способные к устному счету, сходят потом с ума. Их показывают на подмостках мюзик-холлов, и ничего более. Часть их мозга развивается ошеломляющим образом, но в общем они становятся настоящими кретинами. В своем теперешнем состоянии Людовик практически может сдать

вступительный экзамен в Высшую политехническую школу.

— Это действительно любопытно, — сказал дядя. — У нас, у Флёри, больше развита историческая память. Один из нас даже был расстрелян во время Коммуны.

— Не вижу связи.

— Еще один, который помнил.

— Помнил о чем?

Дядя немного помолчал.

— Обо всем, наверное, — сказал он наконец.

— Вы же не станете утверждать, что вашего деда расстреляли из-за избытка памяти?

— Именно это я и говорю. Он, должно быть, знал наизусть все, что французский народ пережил на протяжении многих веков.

— Амбруаз, вы здесь известны, извините меня, как... э-э... в общем, как фантазер, но я пришел говорить с вами не о воздушных змеях.

— Ну да, верно, я тоже одержимый.

— Я хочу просто предупредить вас, что память маленького Людовика не соответствует его возрасту, да и никакому возрасту. Он знает наизусть справочник железных дорог. Десять страниц. Он умножил в уме четырнадцатизначное число на четырнадцатизначное.

— Значит, у него это выражается в цифрах. Кажется, исторической памяти ему не дано. Может быть, это спасет его от расстрела в следующий раз.

— В какой следующий раз?

— Да разве я знаю? Всегда есть следующий раз.

— Вам надо бы показать его доктору.

— Слушайте, Эрбье, это начинает мне надоедать. Если бы мой племянник был на сто процентов нормален, это был бы кретин. До свидания и спасибо. Что за-

шли. Я понимаю, что вы это делаете из лучших побуждений. Он так же способен к истории, как к математике?

— Еще раз, Амбруаз, здесь речь не о способностях. Ни даже об уме. Ум предполагает рассуждение. Я на этом настаиваю: рассуждение. В этом отношении он рассуждает не лучше и не хуже, чем другие мальчишки его возраста. Что же касается истории Франции, то он может пересказать ее с начала до конца.

Наступила довольно долгая пауза, потом я внезапно услышал, как дядя взревел:

— До конца? Какого конца?! Что, уже предвидится конец?!

Месье Эрбье не нашел что ответить. После поражения 1940 года, когда явно наметился “конец”, мне часто случалось вспоминать об этом разговоре.

Единственным из учителей, который вовсе не казался обеспокоенным моей “предрасположенностью”, был мой преподаватель французского, месье Пендер. Он рассердился только один раз, когда, читая наизусть “Конквистадоров”¹, я, в своем стремлении превзойти себя, решил прочесть стихотворение наоборот, начиная с последней строфы. Месье Пендер прервал меня, погрозив пальцем:

— Мой маленький Людовик, не знаю, готовишься ли ты таким образом к тому, что, кажется, угрожает всем нам, то есть к жизни наизусть в перевернутом мире, но прошу тебя по крайней мере пощадить поэзию.

Тот же месье Пендер дал нам позднее тему сочинения, воспоминание о которой сыграло определенную роль в моей жизни: “Проанализируйте и сравните два выражения: сохранять здравый смысл и со-

1 “Конквистадоры” — стихотворение Ж.-М. Эредиа.

хранять смысл жизни. Видите ли вы противоречие между этими двумя идеями”.

Надо признать, что месье Эрбье был не совсем не прав, когда делился с дядей своими опасениями на мой счет, полагая, что легкость, с какой я все запоминаю, вовсе не означает зрелости ума, уравновешенности и здравого смысла. Может быть, недостаток здравого смысла — общая беда всех людей, страдающих избытком памяти; доказательство тому — количество французов, расстрелянных через несколько лет или погибших в концлагерях.